

Становление советской цивилизационной модели в свете проблемы модернизации

В статье автор рассматривает события 1917–1929 гг. в свете проблем модернизации. Анализ событий этого времени (и философских рефлексий на эту тему) приводит к выводам об архаическом, антимодернизационном характере происшедшего – даже вопреки общеизвестным декларациям восторжествовавшего большевизма. Период «новой экономической политики» рассматривается как неудачная (но имевшая исторический шанс) попытка ремодернизации.

Ключевые слова: архаическая регенерация; модернизация; ремодернизация; Серебряный век; большевизм; утопия; марксизм.

Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от неё ожидали. Положительные приобретения... ещё остаются по меньшей мере проблематичными... Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов, пошла положительно назад.

о. С. Булгаков. Героизм и подвижничество.

Буржуя не было, но в нем была потребность...
Максимилиан Волошин

В XX веке событийная и понятийная логика российской истории ломает свой линейный характер – вполне по известному вердикту Н. Бердяева о дискретности российского историко-культурного пути. При рассмотрении семантического и субстанционального аспектов советского периода российской цивилизации мы сталкиваемся с тем, что Л. Гумилев удачно охарактеризовал как «зигзаг истории» – т. е. явление, не могущее однозначно квалифицироваться в понятийных рамках «прогрессивности» или «регрессивности» (и вообще не в рамках линейно-поступательного модуса исторического развития), а представляющее собой некий «горизонтальный протуберанец», «мутацию» исторической эволюции (с тенденцией некоторой «регенеративности» и затем, в нескольких разновременных вариантах, – стремлением к определенной цивилизационно-культурологической «репризности», возвращением – хотя бы декларативному – к исходному «стартовому» состоянию, понимаемому каждый раз по-особенному). Именно такое семантическое значение происходящего констатировал С. Франк [13, с. 135–136], отмечавший, что феномены типа коммунизма или фашизма не могут быть подгоняемы под традиционные определения «правого» и «левого» (т. е. прогрессивного и регрессивного) [12, с. 226–228]: философ даже говорил о «лево-правости» всех тоталитаризмов XX века, подчеркивая, в частности, взаимопереливчатость в данных феноменах худших черт «левизны» и «правизны» (на примере большевизма и черносотенства – т. е. фашизоидности – как «системы сообщающихся сосудов»). При таком положении дел интересующие нас модернизационные и антимодернизационные процессы в описываемое время будут иметь характер настолько неоднородный, как ни на одном предшествующем историко-цивилизационном этапе российского исторического бытия.

* **Дмитрий Владимирович Суворов**, канд. культурологии, доцент факультета бизнеса и управления, АНО ВО «Гуманитарный университет», (г. Екатеринбург).

Первый этап советского периода отечественной истории (1917–1929 гг.) может быть назван этапом становления и кристаллизации советской цивилизации. Внутри данного макроэтапа явственно различимы два достаточно резко очерченных временных отрезка, объединенных общим вектором эволюции (становление системы) и общим характером идеологического осмысления и самопрезентации (различные модификации утопической модели «мировой коммунистической революции» в русле своеобразно трактуемых концепций политического и экономического марксизма), но достаточно резко разнящихся между собой в плане как идейно-политическом (каждая конкретная модификация в этом отношении весьма специфична), так и семантическом, смысловом – реальное (не декларативное) содержание каждого из интересующих нас временных отрезков отличалось друг от друга довольно существенно, это относится и к главной проблеме данной статьи – проблеме модернизации.

Первый период (1917–1921 гг.), обычно определяемый в отечественной историографии как период «революции и гражданской войны». Стало уже общим местом квалифицировать советский эксперимент как «утопию у власти». Стопроцентно справедливо это именно по отношению к данному периоду – поскольку именно в это время имела место попытка бескомпромиссной реализации абсолютно утопического проекта, генетически восходящего к средневековым манихейско-хилиастическим теориям «царства Божьего на земле». Все хорошо известные декларации о «мировой революции» как о «мировом пожаре» (причем непременно «в крови»), торжестве всемирного коммунизма по всеобщей уравнивательной матрице, прямолинейной ликвидации всех предшествующих форм социального общежития и т. д. – в 1917–1921 гг. были практическим руководством к немедленному действию. В этом – уникальность данного исторического момента в отечественной истории: утопические движения были и раньше, и даже – у власти (маздакиты, гуситы, анабаптисты), но никогда в таких масштабах, с такими глобальными амбициями и с такой безоглядной практикой по внедрению своих абсолютно «виртуальных» (в плане оторванности от реальной жизни) проектов (С. Франк оценивал происходящее как процесс превращения «120 миллионов русских... в подопытных кроликов») [13, с. 139]. Н. Бердяев точно квалифицировал большевизм как гибрид средневекового утопизма, наивного рационализма (вульгарное переосмысление идей Просвещения) и «субъективного произвола», понимаемого как «беспредельный классовый субъективизм» [1, с. 60]. Собственно, вся жестокость большевиков и их союзников в первую очередь проистекает из необходимости, во-первых, радикально сломать все без исключения существовавшие социальные нормы и традиции и, во-вторых, создать поле максимальной нестабильности – в противном случае «мировой пожар» был бы невыносим, уже не говоря о том, что в любой более стабильной обстановке леворадикальный блок не имел ни малейших шансов прийти к власти. «Так как утопизм представляет собой не только намерение навязать социуму ту или иную модель развития, но и вообще идеологический по своей сути, схематорческий умозрительный подход к органической жизни социальности, он решительно несовместим с... попытками самопостроения человека» [5, с. 23].

Реально главной причиной взрыва стало предсказанное еще маркизом А. де Кюстином «восстание бородатых против бритых» (т. е., противостояние не столько по социальной, сколько по культурологической демаркации). Показательно, что С. Франк (в работе «По ту сторону «правого» и «левого») прямолинейно констатировал – применительно к ситуации 1917 года, – что «дворянская Россия... умерла, и взамен ее созревает и слагается мужицкая Россия» [12, с. 216]. Это, может быть, и некоторое преувеличение (применительно к началу XX века), но как господствующая тенденция для петербургского периода в целом редакция

С. Франка может быть принята за данность. Напомним официальную статистику на *пореформенную* эпоху: крестьян – 85 % населения, дворян – 3 %, все остальные социальные страты – 12 % (в дореформенное время диспропорция была явно еще больше). При таком социальном раскладе культурная лакуна между элитой и основной массой населения (к тому же политически бесправной, существующей в системе социального апартеида) действительно должна была стать мощнейшим деструктивным элементом системы. М. Малиа чрезвычайно точно охарактеризовал обстановку на селе после октябрьских событий 1917 г. как «крестьянскую жакерию» [7, с. 130] – т. е. как чисто повстанческое явление, имеющее мало общего с «марксистскими» (в понимании Ленина) сверхзадачами и установками.

Этот момент накладывал отпечаток и на теоретические и практические действия леворадикалов: фактически они реализовывали не столько марксистские, сколько народническо-нигилистические установки (утопическо-хилиастические фантазмы того времени имеют именно такой генезис). Г. Федотов прямо констатировал наличие в фундаменте ленинизма «упрощённого» вульгаризированного Маркса (цит. по: [2, с. 375]), а позднее Т. Самуэли недвусмысленно заметил: «“Пролетариат” занял место “народа”, и две разновидности мессианизма, русская и марксистская, слились воедино» (цит. по: [10, с. 415]). То есть сам глубинный, смысловой характер ленинизма как феномена имел принципиально иное содержание и иные истоки, нежели те, которые позднее начали в него привычно вкладывать. Отсюда имело место следствие чрезвычайного характера: в глазах правоверных марксистов (и всего сопредельного мира тоже) Ленин и компания были кем угодно, только не наследниками настоящей марксистской традиции – последняя однозначно негативно относится к путчизму (захвату власти меньшинством), ассоциируя его с бланкизмом. Кроме того, у наследников Марксовой теоретической базы вызывало понятное раздражение то, что «Ленин на каждом этапе своей эволюции... перекраивал марксизм таким образом, что последний вступал во всё большее противоречие с собственными формальными догмами, и переиначивал официальную марксистскую логику истории так, чтобы она соответствовала российской отсталости» [7, с. 99].

С точки зрения социально-психологической и духовной, имеет смысл вспомнить следующий отрывок из трудов Ю. Лотмана и Б. Успенского: речь идет о важнейшем водоразделе между древнерусским и западноевропейским культурными мирами, который предстояло преодолеть России: «Основные культурные ценности (идеологические, политические, религиозные) в системе русского средневековья располагаются в двуполосном ценностном поле, разделенном резкой чертой и лишенном нейтральной аксиологической зоны... Система русского средневековья строилась на подчеркнутой дуальности: промежуточных зон не предусматривалось. В земной жизни поведение могло быть или грешным, или святым; светская власть могла трактоваться как божественная или дьявольская, но никогда – как нейтральная по отношению к этим понятиям. Наличие нейтральной сферы в западном средневековье приводило к тому, что возникала некая субъективная непрерывность между отрицанием сегодняшнего и ожидаемым завтрашним днем... Нейтральная сфера жизни становилась нормой, и высоко семиотизированные сферы верха и низа средневековой культуры вытеснялись в область культурных аномалий. В русской культуре соответствующего периода господствовала иная ценностная ориентация. Дуальность в отсутствие нейтральной аксиологической сферы приводила к тому, что новое мыслилось не как продолжение, а как эсхатологическая смена всего... Изменение протекает как радикальное отталкивание от предыдущего этапа. Новое возникало не из структурно “неиспользованного” резерва, а являлось результатом трансформации старого, так сказать, выворачивания его наизнанку. Отсюда, в свою очередь, повторные смены

могли фактически приводить к *регенерации* архаических форм» [6, с. 4–6]. Сказанное, повторяю, относится к стыку средневековья и Нового времени в русской истории, но ядовитость ситуации заключается в том, что коренящееся в толщах народного подсознания «коллективное бессознательное» постоянно воспроизводило и воспроизводит данную аксиологическую установку на протяжении *всей* последующей российской истории.

Если взглянуть под данным углом зрения на описываемую социокультурную ситуацию, всё происходившее в 1917–1921 гг. есть чуть ли не буквальная иллюстрация к словам Ю. Лотмана и Б. Успенского о «регенерации архаических форм». Весь взятый в целостности феномен «второй Смуты» (так определил происходящее А. Деникин) носил предельно отчетливо выраженный характер взрыва архаики, отката в некую духовную реальность «нового средневековья» (Н. Бердяев), «возврата к варварству» (выражение из Нобелевской лекции А. Солженицына), «нашествию внутреннего варвара» (С. Франк), лучше всего опять-таки понимаемого в свете известной теории К. Юнга о «коллективном бессознательном». Причин такого отката несколько: и преобладание во всех враждующих группировках крестьянства – социального слоя, в наибольшей степени сохранившего домодернизационные элементы в своем менталитете, и симптомы посттравматического синдрома чуть ли не у большинства населения страны, прошедшего через горнило Первой мировой войны, и, конечно, описанные Ю. Лотманом и Б. Успенским культурологические предпосылки российской цивилизации к реархаизации.

Во многом объясняет характер и результаты происходящего классификация культурных пластов российского общества, приведенная В. Ильиным, А. Панариным и А. Ахиезером. Ученые считают, что «анализ истории России позволяет выделить пласты культуры, отличающиеся векторами конструктивной напряженности, их нацеленностью на разный уровень и характер эффективности. Они характеризуются разным уровнем приверженности к крайним формам инверсии, разным уровнем и формой организации человеческих возможностей. Эти пласты – варианты единой культуры, которые в целом содержат исторически накопленное разнообразие программ воспроизводства. В основе каждого из этих пластов лежит представление об общем характере, форме человеческих отношений, что позволяет говорить об их нравственном содержании. Освоение людьми каждого из них означает превращение его в нравственный идеал, т. е. в подлежащий воспроизводству идеал отношений» [4, с. 340]. Авторы выделяют следующие пласты:

- *традиционный* (синкретичный; существует с доисторических времен). «Для него характерен синкретизм, неотличимость результата от деятельности, средств от условий целей, стремление человека раствориться в сложившихся природных и социальных ритмах. В своей основе этот пласт нацелен на сохранение в неизменном состоянии... способности сдерживать дезорганизацию на приемлемом для выживаемости общества уровне... Воспроизводство этого идеала воссоздает систему архаичных догосударственных отношений» [Там же, с. 340–341];

- *соборный*; «связан с определенным ограниченным отступлением от синкретизма... это открывает крайне ограниченные возможности роста примитивных форм рынка. Для этого пласта характерно... стремление к автаркии. Исторически этот идеал может использоваться как нравственная основа для формирования определенных ограниченных форм государственности» [Там же, с. 341];

- *авторитарный*; «однороден с соборным, однако здесь вектор напряженности охватывает государство, большое общество» [Там же]. Структурирует государственность, основанную на патриархальном идеале;

- *утилитарный*; для этого пласта, «имеющего в России многовековую историю, характерно ценностное отношение к миру как набору реальных и потенци-

альных средств... Для утилитаризма характерно медленное наращивание потенциала модернизации, что не исключает возможности обратного движения;

- *либеральный*; «реализуется в условиях господства рыночных отношений. Именно либерализм открывает скрытую тайну мировой истории – истинным и конечным субъектом истории, хозяйственного развития и всего, что имеет место в обществе, является личная творческая инициатива личности... Это на определенном этапе истории превращает развитие в высшую культурную ценность» [4, с. 341–342]. Кроме того, авторы отмечают существование и промежуточных, гибридных форм, возникающих из-за инстинктивного страха в обществе перед дезорганизацией.

Применяя данную классификацию, можно утверждать, что в целом в годы «второй Смуты» (выражение А. Деникина) грандиозный реванш взял даже не соборный (как полагает А. Ахиезер), а именно традиционный пласт. Поэтому срыв в архаизацию – при наличии определенных «флуктуаций», вроде субъективной слабости и ретроспективной самопрезентации власти – был вполне реален, и эта потенция (к сожалению) стала явью: атмосфера всеобщей деструкции реально ведет исключительно к системному откату по всем без исключения пунктам (что «блестяще» и продемонстрировала историческая коллизия тех лет, отбросившая страну, говоря словами Н. Бердяева, в «состояние допетровской Руси» – или, используя известную дихотомию Э. Маркаряна, в «домашинный» этап цивилизации).

С этой позиции не удивительно, что практика всех без исключения комбатантов гражданской войны – вне зависимости от программных заявлений и политических деклараций лидеров – носила отчетливый привкус архаики, начиная с исключительно жестокой манеры воевать (И. Ильин охарактеризовал все происходящее как «узаконивание уголовщины») [3, с. 271] до глубинных, почти подсознательных мотивов поведения и стереотипов действий, ради чего вообще всё сотворяемое и происходит. Причем точное бердяевское определение ситуации как «средневековой» расшифровано философом через следующее выразительное свидетельство: «Новые люди, пришедшие снизу, были чужды традициям русской культуры, лишены всякой культуры и жили *исключительно верой*» (курсив мой. – Д. С.) [1, с. 20]. А физическая выбраковка в годы гражданской войны целых слоев и социальных групп России, имевшая место, в частности, во время красного террора, привела к тому, что, по определению Н. Бердяева, «в России появился новый антропологический тип» [Там же, с. 101] – т. е. можно говорить о глубочайших комплексных и даже экзистенциальных изменениях во всех сторонах существования России как цивилизации.

Наиболее точно глубинный (в т. ч. философский) смысл происходящего, на наш взгляд, уловил С. Франк – в уже цитированной работе «По ту сторону “правого” и “левого”». Прежде всего, мыслитель декларирует признание исторической и культурной обусловленности российского Апокалипсиса, его фундаментальные цивилизационные корни (к таковым С. Франк прежде всего относит социально-культурную поляризацию российского социума, духовный кризис института монархии, который, по Франку, был единственно «укреплен корнями в последних религиозных глубинах народной души» [13, с. 213] – «падением великого фетиша» назвал в 1905 г. этот драматичнейший момент российской духовности В. Розанов) [Там же], а также маргинальность нигилизма как главного фактического идейного содержания русской революции – философ справедливо квалифицирует нигилизм как продукт не критического и «типично русского» заимствования «идей, в сущности отрицавших устои западной культуры»; т. е. как результат «догоняющего культурного типа», причем семантически антиевропейский (данный пункт Франк подчеркивает особо, замечая, что русские радикалы даже европей-

ские по генезису идеи «заимствовали... в сущности отрицавшие устои западной культуры») [13, с. 220]. Этот момент в рассуждениях Франка почти дословно повторен и продолжен в наши дни у В. Скоробогачко: согласно мнению философа, одной из важнейших предпосылок возникновения тоталитаризма в России явился «нигилизм как явление, связанное с установкой на радикальную переоценку ценностей; моментами этой установки являются... имморализация и “разнаучивание” системы классических ценностей культуры и определяемых ими отношений индивида к миру. Итогом ее действия оказывается перевертывание системы ценностей и такое изменение иерархии внутри нее, когда место доминирующей (сверх) ценности занимает... ставший явным дух насилия» [9, с. 40]. В. Скоробогачкий говорит также о «маргинальном индивиде», ищущем выхода в «бегстве из культуры, в беспочвенности, ставшей сознательным принципом его существования» [Там же, с. 41] и о «прорастании» последнего в «тоталитарного индивида» [Там же] как результате подобной психологической операции.

Вывод из вышесказанного у С. Франка звучит следующим образом: «Русская революция по своему внутреннему социально-политическому существу есть болезненный кризис острой демократизации России» [Там же, с. 215]; при этом философ специально оговаривается, что под «демократизацией» он понимает в данном случае не «какие-либо формы правления или государственного устройства» (т. е., общепринятое значение этого слова), а «движение народных масс, руководимое смутным, политически не оформленным, по существу скорее психологически-бытовым идеалом самочинности и самостоятельности» [Там же] (почти полное совпадение с позднейшей квалификацией А. Ахиезера по поводу событий 1917–1921 гг. как взрыве «локализма!»). С. Франк неоднократно подчеркивает иррациональный в своей глубинности характер происходящего (как «смуты» и «победившей пугачевщины») и отмечает хорошо известный историкам факт разрушения «мужицким потоком» не только отживших (помещичье землевладение, монархия) но и вообще *всех* (в том числе вполне жизнеспособных и перспективных) существовавших форм социальной, экономической и культурной жизни [Там же, с. 217]. Кроме того, по словам философа, «в дальнейшем развитии социализма... его генетический корень сказался в характерном для социализма отрицании начала свободы» [Там же, с. 232] – т. е. в отторжении главного философского краеугольного камня европейской культуры. Об этом же впоследствии размышляли позднейшие независимые философы в СССР, оценивая и (используя выражение Ж. Деррида) «деконструируя» всё происшедшее: «Европейская культура построена на идее признания самоценности человеческой личности, ее свободы и достоинства, на жизненном усилии» (В. Смирнов); «глубочайшая ее (личности. – Д. С.) ценность заключается в ясном сознании: всё, что происходит в мире, зависит от твоих личных усилий – а значит, ты не можешь жить в мире, где неизвестными остаются источники, откуда к тебе “приходят” события» (М. Мамардашвили) [11, с. 492]. Каково было поле свободы в годы гражданской войны и насколько оно сузилось даже сравнительно с самыми репрессивными годами петербургской эпохи – общеизвестно: более определенной констатации архаического, регрессивного характера происходящего сформулировать трудно.

Очень интересный аспект матрицы архаизации России в результате происходящего дал Г. Плеханов в полемике с Лениным. Поскольку в стране европеизированная прослойка очень тонка, предупреждал Плеханов, единственным результатом «раздувания мирового пожара» станет взаимное уничтожение европейски ориентированных социальных стратов (к последним Плеханов относил, помимо интеллигенции, буржуазию и пролетариат), после чего Россию ожидает неизбежный откат в «Азию» [2, с. 380]. Прогноз Плеханова оказался абсолютно точным:

по словам Алексея Кара-Мурзы, «большевизм принес с собой насильственную азиатизацию России с сопутствующим вырезанием европейских классов» [2].

Применительно к Ленину и возглавляемому им «красному» лагерю можно констатировать не только бессознательные, но – хотя бы частично – и вполне осознаваемые мотивы антимодернизационного отката. Сама марксистская схема деления на «буржуев» и «пролетариев» (предельно далекая от российских реалий, о чем прекрасно знал и даже предупреждал сам Маркс), доведенная Лениным до крайности и последовательно проведенная в жизнь, была, во-первых, не чем иным, как сознательным упрощением социальной системы (что уже само по себе дает мощный антимодернизационный эффект); во-вторых, явственно восходила не только к теориям российских народников XIX в., в частности – к герценовскому идеалу «русского социализма» (на этот момент особо обращал внимание В. Кантор, справедливо считая весь данный феномен «антиевропейским соблазном» – т. е. антимодернизационным), но и (как уже отмечалось выше) к дуалистическим концепциям средневековых ересей (а также отмеченной Ю. Лотманом и Б. Успенским средневековой аксиологической дуальности).

Здесь можно сделать следующую оговорку. Субъективно, на уровне идеалов, Ленин не ощущал себя «антимодернистом». Напротив, в основе ленинской программы – как и у всех революционных партий и движений начала XX века – безусловно, лежал пафос социального обновления (причем настолько мощный, что его энергии хватило на многие десятилетия, и завораживающая притягательность ленинского утопического проекта еще долго будет вдохновлять как массы, так и интеллектуалов, в том числе за пределами СССР). Однако, во-первых, субъективное осмысление Лениным своей историко-культурной роли не может отменить общего фундаментального архаизированного характера всего раннесоветского, «донэповского» феномена; во-вторых, крайне прагматический (на уровне известной иезуитско-нечаевской максимы о примате целей над средствами) стратегический курс Ленина неизбежно диктовал постоянную амбивалентность и мутабельность принципиальных идейных и понятийных основ его теоретического наследия, что опять-таки заставляет присматриваться в первую очередь не декларациям, а к реальным последствиям практической политики Ленина.

Кроме того, говоря о ленинском наследии, мы фактически сталкиваемся с феноменами «хищности» и «гибридности» (в культурологическом смысле слова). Самый мягкий вердикт по данной проблеме дан В. Скоробогатким: «Ленинизм... включал в себя изначально несовместимые элементы: марксизм, революционный демократизм западного (якобинство) и русского (народничество) толка. Их противоречивое соотношение, дававшее внутренний импульс развития ленинизма... но и родовые для революционной демократии черты, обосновываемые с помощью марксистской теории: стремление к диктатуре, ставка на революционное насилие, террор, культ чрезвычайных мер... политический авангардизм, утопизм конечных целей... эгалитаризм и показной аскетизм вождей» [9, с. 40]. Антиевропеизм перечисленных В. Скоробогатким комплексных мер практики ленинизма тем более бросается в глаза, поскольку в своих самых обобщенных чертах они повторяют аналогичные моменты практики всех разновидностей фашизма – тоже существенно антиевропейского, маргинального и нигилистического феномена.

Второй период (1921–1928 гг.). В интересующем нас аспекте данный период – один из самых интересных и сложных для понимания. На наш взгляд, можно (оставаясь в рамках рассматриваемого вектора по проблеме модернизации) выделить следующие аспекты.

Во-первых, главное и основное – полный и тотальный крах утопических упований на мировую революцию (т. е. провал основной и кардинальной посылки, во

имя которой всё и затевалось). Ведь в теоретическом наследии Маркса даже намеком не озвучено что-нибудь вроде идеи о «мирном сосуществовании стран с различным социально-политическим строем» (официоз эпохи позднего коммунизма): заявка была абсолютно однозначная: или победа в мировом масштабе (буквально – в масштабе земного шара), или неминуемый и скорый крах! Не меньший крах потерпела и попытка наладить жизнь на основе политики диктатуры и «военного коммунизма». С этой позиции можно констатировать: тактическая победа большевиков и их союзников в гражданской войне стратегически была полной катастрофой, да и тактически несомненна победа только над белым движением – над «зелеными» она более чем сомнительна, поскольку сам НЭП как «генеральное отступление» был мотивирован именно опасностью «мелкобуржуазной контрреволюции, которая страшнее Колчака, Деникина и Юденича, вместе взятых» (известные слова Ленина: под «мелкобуржуазной контрреволюцией» вождь явственно подразумевал нарастающее крестьянское сопротивление утопии в масштабах совершенно гомерических)¹. На уровне международном сложившееся положение неумолимо приводило к превращению Советской России в страну-изгой; на уровне внутриполитическом – грозило крахом режима; на уровне внутрипартийном де-факто приводило к элементам раскола, что – учитывая фундаментальные характеристики ВКП(б) как «партии нового типа» (т. е. как партии принципиально непарламентской, военизированной, созданной по иезуитско-бланкистской матрице), было смертельно опасно.

С этого ракурса рассмотрения все те меры, которые были на практике предложены и предприняты (НЭП), выходят за рамки пресловутого «тактического отступления» именно в силу своей комплексности. Перед нами не что иное, как попытка (и небезуспешная) стыдливо прикрытой ремодернизации – определенного возвращения к элементам и реалиям той российской цивилизации начала XX («Серебряного») века, которая к тому времени была фактически убита в результате жесточайших насильственных действий 1917–1920 гг. В силу последнего фактора НЭП не мог стать копией предвоенной России, но бросается в глаза невероятная живучесть довоенных и дореволюционных феноменов – после всего того, что совершилось. Объяснение этому только одно: модернизационные элементы российского бытия благодаря деятельности реформаторов «последней волны» (т. е. рубежа веков) успели укрепиться и прижиться на отечественной почве настолько, что их не смогли выжечь даже все ужасы и эксцессы братоубийственной междоусобицы.

Но отсюда со всей непреложностью следуют вполне определенные выводы. Чем более подобная ремодернизированная система стала бы укрепляться, тем скорее в глазах всего населения страны все социально-политические элементы, восходящие к октябрьскому утопическому проекту, становились бы ненужным и раздражающим анахронизмом. Фактически в стране складывалось своеобразное «двоевластие»: экономика развивалась в рамках нормальных рыночных реалий, политически же господствующие (и внеконкурентные) позиции занимала партия, стоявшая на предельно антирыночной (и антимодернизационной) платформе. Долго такое положение, естественно, сохраняться не могло: подобный симбиоз (или химера?) может продлиться несколько десятилетий, но при любых обстоятельствах в конце концов трансформируется в какую-то иную реальность – или самоуничтожится (югославская матрица происходящего!). Драматизма (для коммунистов) добавляло и то, что, с точки зрения ортодоксальных марксистов, бытие определяет сознание – т. е. экономический базис должен определять политиче-

¹ По данным А. Солженицына и А. Бернштама, к 1920 г. до 85 % губерний тогдашней России, свободных от белых, были объявлены на военном положении – шла война с собственным крестьянством.

скую надстройку (а поскольку базис откровенно «капиталистический», то судьба «надстройки» представлялась весьма незавидной!). И действительно, вполне реальной альтернативой тому, что произойдет на практике, могло стать структурирование в СССР развитых и современных для того времени форм экономической и социальной жизни с постепенным демонтажем элементов утопии. В. Скоробацкий прямо называет НЭП «переходом границы» [9, с. 40] ленинизма – т. е. сущностным выходом за допустимые (для большевиков) политические и феноменальные пределы, а А. Нещадин и Н. Горин квалифицируют НЭП как «идейное поражение ленинизма» [8, с. 187]. Конечно, антимодернизационный ресурс в стране также был – как в лице фанатичных последователей утопии, так и в силу вышеописанных ментальных особенностей россиян; на этом и сыграют впоследствии политические могильщики НЭПа. И тем не менее, историческая альтернатива тоталитаризму в 1921–1928 гг., безусловно, была; показательно, что даже в рядах ВКП (б) существовали тенденции к эволюции в данную сторону (программа Н. Бухарина от 1925 г. о развития НЭПа, почти в деталях базирующаяся на идеях П. Столыпина о «сильных хозяевах»).

Во-вторых, в эпоху НЭПа не в меньшей степени, чем экономические, проявляют себя и культурные факторы, также прямо отсылающие нас в эпоху «позднеромановской» модернизации (конкретно – в Серебряный век). Суть в том, что в 20-х гг. в духовной и художественной культуре СССР происходят процессы, которые были точно определены В. Рутминским как «Постсеребряный век» – т. е. как прямое продолжение и развитие определенных тенденций и феноменов культуры предшествующей эпохи, причем культуры самой что ни на есть «модернизированной», наиболее «европейской» по сущности. Прежде всего это касается многих форм художественного модерна и авангарда (футуристическая линия Серебряного века), которые переживают в описываемое время своего рода второе рождение (в живописи, архитектуре, скульптуре, поэзии, музыке, театре). Идеологически это осмыслялось самими художниками через символ революции как обновления, через эстетизированный образ всеобщей социокультурной трансформации («моя революция», по Маяковскому). Общеизвестно, что 20-е гг. – это время расцвета множества литературно-художественных группировок, носивших в большинстве своем откровенно авангардный характер (даже возглавлявшаяся акмеистом О. Мандельштамом группировка носила типично футуристическое название «ХЛАМ»²). Принципиально также то, что всё происходящее не носило характера только продолжения эстетических установок Серебряного века – напротив, в эти годы закладываются основы для самостоятельного творческого развития многих художественных тенденций в разных видах искусства; достаточно вспомнить, например, что все наиболее значительные отечественные классики музыкальной культуры советской эпохи (такие, как Д. Шостакович, А. Хачатурян, И. Дунаевский) дебютировали в описываемое время. Случайным такое совпадение фактов быть не может по определению: ясно, что такой всплеск культурной деятельности не мог бы состояться, не будь в тогдашнем социуме определенных ресурсов свободы и определенных либеральных тенденций. И этот момент также явственно указывает на возможный вектор развития страны в сторону углубления и укрепления модернизационных процессов.

В-третьих, однако, в эволюции российского социума в интересующее нас время действовали и противоположные тенденции, которые и привели ситуацию именно к той «бифуркации», которая реально произошла на рубеже 20–30-х гг. И дело не только в том, что у власти продолжали оставаться ультралевые радикалы; и даже не только в том, что все 20-е гг. не переставала работать репрессивная

² «Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты».

машина (именно в эти годы структурируется ГУЛАГ). Главное – в том, что за годы жесточайшей внутривластной борьбы за власть (составившей главное внутривластное содержание всего описываемого периода) окончательно сложились основные элементы будущей «классической» тоталитарной системы, которая станет основой и содержанием всего последующего исторического этапа, в частности «партократия» (выражение А. Автроханова) и «идеократия» (выражение Н. Бердяева). То есть за «нэповские» годы во властной элите окончательно структурируется хорошо оформленная система, выросшая и осознавшая себя в годы «военного коммунизма». По М. Малиа, «военный коммунизм... был тем решающим эпизодом истории, который открыл большевикам, кто же они такие на самом деле» [7, с. 140]. Не случайно проводимая с 1928 г. политика свертывания НЭПа получила официальное название СЭП («старая экономическая политика», старая по отношению к НЭП – т. е. «военный коммунизм»).

К тому же, по мнению Ильина – Панарина – Ахиезера, «в страновой модернизации нельзя апеллировать к плембсу. Но раз поставившие на париев большевики ни в ком уже не в состоянии искать и находить поддержки. Никаких правильных соотношений с мелким производителем... установиться не могло... Не эффективная гетерогенная либеральная экономика, а эффективная гомогенная политическая репрессия стала рычагом поддержания целостности общества» [4, с. 110]. Последнее, по В. Скоробогачкому, было детерминировано целым рядом общекультурных моментов: вышеупомянутой «раскрепощенной в годы гражданской войны стихией нигилизма и маргинализма, коллапсом традиционной культуры, инерцией «революционного идеализма». Если практика НЭПа была воплощением политического и экономического реализма (и поэтому направлена в будущее), то поворот к СЭП являлся откровенно регрессивной реакцией на «неудобную» реальность – коллективное бессознательное «внутреннего варвара» в сочетании с беспочвенностью восторжествовавшего нигилизма в очередной раз в нашей истории вызвало к жизни «архаическую регенерацию».

Всё вышесказанное и позволило – с полным пренебрежением к классической марксистской максиме – «попрать сознанием бытие» и осуществить демонтаж НЭПа с последующим структурированием классической тоталитарной модели – т. е. с «приведением масс в состояние автотеррора» [Там же, с. 110].

Литература

1. Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М. : Наука, 1990.
2. Западники и националисты: возможен ли диалог? / сост. А. Трапкова. – М. : ОГИ, 2003.
3. Ильин И. А. Собр. соч. : в 10 т. – Т. 2, кн. 1. – М. : Русская книга, 1993.
4. Ильин В., Панарин А., Ахиезер А. Реформы и контрреформы в России : циклы модернизационного процесса. – М. : Изд-во МГУ, 1996.
5. Киселёв Г. С. Человек. Культура. Цивилизация на пороге III тысячелетия. – М. : Восточная лит. РАН, 1999.
6. Лотман Ю. Успенский Б. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии. – Тарту, 1977. – Т. XXVIII (Литературоведение).
7. Малиа М. Советская трагедия. – М. : РОССПЭН, 2002.
8. Нецадин А., Горин Н. Судьба России в современной цивилизации. – М. : Агентство «Инфомарт», 2003.
9. Разум власти прирастает наукой. Интеллектуальный портрет ведущих ученых Уральской академии государственной службы. – Екатеринбург : Изд-во Урал. акад. гос. службы, 2001.
10. Самуэли Т. Интеллигенция и революция // Новый колокол : литературно-публицистический сборник / ред. Н. Белинкова. – М. : Весть-ВИМО, 1994.

11. *Философия не кончается...* : Из истории отечественной философии. XX век, 1960–80 годы. – М. : РОССПЭН, 1999.

12. Франк С. По ту сторону «правого» и «левого» // *Новый мир*. – 1990. – № 4.

13. Франк С. *Русское мировоззрение*. – СПб. : Наука, 1996.

Dmitriy Vladimirovich Suvorov,

Candidate of Culturology, Associate Professor at Business and Management Department,
Liberal Arts University – University for Humanities
(Ekaterinburg)

The Establishment of the Soviet Model of Civilization in the Light of the Problems of Modernization

In the article, the author considers the events of 1917–1929 in the light of modernization problems. Analyzing the events of that time and philosophical reflections on this topic, the author comes to conclusions concerning the archaic, anti-modernization nature of the incident –in spite of the well-known declarations of the triumph of Bolshevism. The period of "new economic policy" is treated as an unsuccessful (though having a historical chance) attempt of remodernisation.

Key words: archaic regeneration; modernization; remodernization; Silver age; Bolshevism; utopia; Marxism.